

Дмитрий ВОРОНИН

ЭЙНШТЕЙН

Иосиф Сигизмундович Сиропчик актёром в губернском театре числился замечательным, играл там с молодых времён и, почти всегда, с неизменным успехом. Аншлаги, букеты с признательными записочками, следы губных помад на щеках – всё это каждодневно пребывало в жизни заслуженного лицедея. Исключения выпадали только на сроки болезни, отпусков и ремонта сцены. Ролей всяческих за свою долгую творческую жизнь Иосиф Сигизмундович опробовал немерено, от героев-любовников до царей и богов Олимпа. Да как отыграл, шельмец! Поклонники дарили ему коньяк и водку, виски и портвейн. Поклонницы, что в партере, что на галёрке, рыдали от восторга, всякий раз порываясь в конце представления забраться на подмостки и облобызать своего кумира или удушить его в объятиях. Да и актриски особо не отставали. Как входили в раж, играя жён и любовниц героя в различных мелодрамах, так и после их окончания продолжали в засос целовать

Сиропчика, закатывать ему скандалы, бить пощёчины и пытаться уехать к нему домой. Может, такую афёру кому-то и удалось в конечном итоге повернуть, если бы не Капа – законная супруга Иосифа Сигизмундовича. Капитолина слыла женщиной строгой, постоянной и решительной. К тому же и веса была солидного, не в пример всем этим комедианткам. Могла и прибить ненароком. Иосю Капа прибрала к рукам ещё до его поступления в театр, забрав пьяненьким исхудавшим студентиком из привокзального кафе, где работала на тот момент поварихой, к себе домой. Иосифу у Капы понравилось настолько, что он через неделю сделал ей предложение. С того момента все бытовые заботы покинули Сиропчика раз и навсегда. Правда, вместе с ними исчезла и возможность крутить романы на стороне, но с этой утратой Иосиф Сигизмундович быстро свыкся, предварительно получив от Капитолины несколько ударов скалкой по голове и заработав от неё же перелом носа и пару десятков фингалов.

Дмитрий Павлович ВОРОНИН родился в 1961 году в г. Клайпеда Литовской ССР. Сельский учитель. Член Союза писателей России. Автор четырех книг прозы. Лауреат премии им. А. Куприна и других премий. Публиковался более чем в 40 «толстых» литературных журналах России и ближнего зарубежья. Участник более 50 альманахов и прозаических сборников в России и за рубежом.

Живет в п. Тишино Калининградской области.

Капитолина театр не любила, считала его рассадником разврата и являлась туда только по вечерам, чтобы отвезти своего благоверного в семейное гнездо, вырвав его из хищных когтей обожательниц.

– Ося, – грубо отталкивала она плечом очередную зазевавшуюся поклонницу, – опять?

– Что ты, Капушка, – пьяненько улыбался супруге Иосиф, – и даже в мыслях ни-ни.

– Знаю я, какое ни-ни, тебя и на минуту оставить без присмотра нельзя, – выдёргивала Капитолина из рук триумфатора цветы и всучала ему взамен пару авосек, наполненных продуктами, которые успевала купить в супермаркете напротив.

– Ты за своей Капой, как за китайской стеной, никакие цунами не страшны, – завидовали Сиропчику его бобыли-сослуживцы.

И всё бы хорошо, да только вот...

Практически от всех дурных привычек отучила своего Осю Капа, но не от спиртного. Тут Сиропчик проявил упорное сопротивление:

– Что ты меня последней радости жизни пытаешься лишить! – огрызался каждый раз Иосиф Сигизмундович на очередные попреки со стороны жены, что вечно у него по вечерам зенки залиты. – И так полностью под тобой хожу, оставь хоть тут кусочек свободы. Я, к тому же, дома вообще ни грамульки в рот не беру без твоего разрешения. Только и отдыхаю, что на работе, где рюмочку-другую по ходу спектакля в себя опрокидываю. Вот и отстань хоть там.

Капитолина и отстала, махнув рукой на последнюю мужнину блажь.

Но вот в театре от такой блажи Сиропчика за многие годы откровенно устали. Иосиф Сигизмундович очень даже спокойно мог и на зрителей накинуться в середине последнего акта, находясь под парами водочки или портвейна:

– Чего припёрлись? Сидите тут, глазеете. На Сиропчика посмотреть? Нравится вам Сиропчик? Ну смотрите, где вы ещё такого гения увидите!

После подобных отступлений от репертуара, администрация впадала в истерику, грозила лишить Иосифа Сигизмундовича тринадцатой зарплаты, всех премий и бонусов, отстранить от спектаклей и вообще уволить по статье за профнепригодность. Сиропчик винился, на неделю прекращал прикладываться к стакану, но потом всё повторялось. Приходилось терпеть и дальше его выходки, понимая, что альтернативы герою-любовнику и царю-батюшке в труппе просто нет.

Однако, как только у бога Олимпа наступил пенсионный срок, директор театра Парнас Рожденович Бубашвили тут же пригласил его в свой кабинет и с ходу объявил:

– Всо, Ёсиф Сыгызмундыч, твой служба артыста в нашым тэатрэ закончылся, хоть ты и гэний, канэчна. Но зная твай заслуги и любов народа, мы тэбя нэ виганяем. Мы тэбя просим пэрэйти в суфлоры. Ты вэсь рэпэртуар как сваи пят пальцев знаэш, наизуст виучил, будиш падсказыват из бутки. Нэ спорь, ми тэбэ чэст аказываем. Главным суфлором дэлаем. Согласэн?

– Согласен, – тут же дал добро Сиропчик, представив себя полностью во власти Капитолины.

– Вот и замечательно, – обрадовался положительному ответу Парнас Рожденович. – Праводым тэбя на пэнсию как бога! Паздравым со всэм уважэнием. А чэрэз нэдэлю занымай бутку, она твая. Ужэ сэчас можэш сматрэт новая мэсто.

Иосиф Сигизмундович не стал оттягивать процесс освоения нового места работы, отнёс в суфлёрскую кабину из своей гримёрки любимый стул, подобрал удобную подушку и даже умудрился прикрепить к стене навесной столик под графин с водой. В общем, создал себе максимально приемлемые условия для долгого малоподвижного нахождения в стеснённом пространстве.

Поначалу за Иосифом Сигизмундовичем оставили почти такую же зарплату, что он получал в актёрах, но с условием ежедневной озвучки текстов.

– Будешь начитывать все мои сложные пьесы, – наставлял его главреж Сакалаускас. – Но ничего Ёсеф, ты – человек опытный, почти весь репертуар наизусть знаешь, справишься.

– Мишка, всё будет нормалёк с моей стороны, – чокнулся с Миндаугасом фужерами Сиропчик. – Главное, чтобы актёришки повторяли правильно, а так, ноу проблем.

– Особое внимание нашей приёме Афродите Снежной.

– Фроське, что ли?

– Ну да, Афродите. Ты же понимаешь, за ней стоит Парнас Рожденович, поэтому сбоев быть не должно, от этого и наш гонорар зависит, и наше место. Память у неё короткая, роли не запоминает, что будешь ей в уши вдвухать, то и в зал улетит.

– Да знаю я эту Снежную как облупленную, не раз вместе на сцену выходили. Мозгов никаких совершенно. Я этой дуре и во время спектакля постоянно её текст наговаривал. Бездарная пуштышка.

– Тс, – опасно покосился на дверь Сакалаускас, – Может, мозгов у Афродиты и нет, зато Парнас Рожденович есть, и формы какие! Пальчики оближешь. На неё мужики из прокуратуры и следственного изолятора ходят. Сам губернатор букет присылает, так что...

– Это конечно, формы у неё волнительные, почти как у моей Капы, тут не поспоришь. Ей бы на рынке торговать, цены б бабе не было.

– На рынок её нельзя, – улыбнулся главреж, – складывает плохо, проторгуется.

– Судя по ору из бухгалтерии после выдачи зарплаты, со счётом у неё всё в порядке, – ещё раз чокнулся с Сакалаускасом Иосиф Сигизмундович.

– Да ладно тебе, Ёсеф, пусть играет, жалко, что ли. Твоё дело теперь – подсказать вовремя, а не рядом с ней на сцене прыгать, – закусил коньячок ломтиком лимона Сакалаускас.

Через пару месяцев Афродита Снежина ластилась к директору Бубашвили

– Ой, Парнастик, какой ты шутник оказывается. Сиропчика в конуру, как дворнягу какую, загнал. Там ему самое место оказалось. Ещё б на цепь посадил, вообще прикольно было б на него смотреть. Ав-ав.

– Гы-гы-гы, – заржал Парнас Рожденович. – И мыску пэрэд мордай паставит. Гы-гы-гы.

– И косточку туда положить.

– Гы-гы-гы.

– Люблю тебя, Парнастик, – чмокнула в затылок директора Афродита.

– И я тебя, Арфочка, – расплылся довольной улыбкой Бубашвили.

– Знаешь, Парнастик, мне теперь в сто раз лучше играется, когда Сиропчик в будке сидит. Я и слова не зубрю, и перегар его не нюхаю.

– А я тебя, Арфочка, всегда гаварыл, что Ёсиф – гэний. Он, что на сценэ, что пад сценэй, адынакава харош.

– Хи-хи-хи, шутничок ты мой.

– Шютка-шюткой, но тебя же лэгчэ стало, да?

– Легче, золотце моё, намного легче.

Спустя ещё месяц прима-актриса жаловалась директору.

– Парнастик, Сиропчик пьёт, паразит. Я к концу спектакля сегодня уже задыхаться стала от его перегара. Сначала на партнёра подумала, что он на грудь принял для смелости. Бойтся меня обнимать на сцене. Но нет, не воняло от Безрукавкина. Подошла к будке специально, а оттуда разит, как из помойки, и глаза у Сиропчика красные.

– Харашо, пупсык, я с ним пагавару завтра, сделаю внушэний.

– Сыгызмундыч, нэ пэй, да? – выговаривал Бубашвили стоящему перед ним суфлёру, утопая в директорском кресле. – От тебя пэрэгар на вэс тэатр, слюшай. Афродыта задыхается уже савсэм, скоро отравится, ты этого хочеш?

– Я не пью, Афродита наговаривает.

– Э, Ёсиф, знаю тебя, – развёл руками Парнас Рожденович.

– Прэмию нэ дам, оклад заныжу, еслэ паймаю.

Следующим вечером почти сразу после второго антракта из суфлёрской будки раздался такой мощный храп, что актриса Снежная аж вскрикнула от испуга, а публика разразилась безудержным хохотом и устроила бурные овации.

– Сыропчык, ты алкач, да? – в ярости вышагивал вдоль своего стола Парнас Рожденович, злобно поглядывая в сторону виновато сидящего на стуле Иосифа Сигизмундовича. – Ты нэ можеш бэз водки, да? Ты спэктаклю чут нэ сорвал вчэра, храпэл на вэс зал! Чэго малчыш? На пэнсию савсэм захатэл? Гавары.

– Я не пил, – пробубнил в ответ Сиропчик. – Устал просто, постановка очень длинная, вот и уснул. С кем не бывает.

– Какой – устал проста? – остолбенел Бубашвили. – Какой – уснул? Какой эщо – с кэм нэ бывает? Са мной нэ бывает. Нэ пил он! Я сам лычно графын твой нухал и стакан тожэ. Водку пил!

– Враги, – ещё тише проговорил Сиропчик, – завистники. Они подлили.

– Какой – враги? – опешил Парнас Рожденович. – Какой – завистныки? Ты эщо скажи, что это Афродита тебя водку налила.

– Не знаю, не видел, может, и она, та ещё штучка, – прошептал суфлёр, упорно смотря под ноги.

– Ты что, савсэм идыёт? – заорал Бубашвили на бедного Сиропчика. – Ты эщо скажи, что это я тебе чачу наливал. Вот что, Ёсиф, эщо раз уснеш на работа, потом будэш дома досыпат вмэстэ с Капай навсэгда. Понэл мэня, да?

– Понял.

– Ну и атлычна. А пака за тавой пажарной сляужбы Падкарытав прысмотрыт. Будэт пэрэд работай графын твой нухат и карманы сматрэт.

Месяц Сиропчик держался, ходил трезвым и хмурым. То ли жёсткий контроль Подкорытова повлиял на суфлёра, то ли перспективы остаток жизни провести исключительно в обществе Капы, но от Иосифа Сигизмундовича и на расстоянии нескольких метров совершенно не пахло алкоголем.

– Маладэц, Ёсиф, заслужыл прэмыю, – вручил персонально Сиропчику бонусный конверт Бубашвили.

Но уже через день раскрасневшаяся Афродита влетела в директорский кабинет и с ходу заорала:

– Парнастик, выгони немедленно эту дрянь из театра! Или он – или я!

– Что опят случился, дарагая?

– Эта скотина снова напилась и... – разрыдалась актриса, уронив голову на стол.

– Опят захрапэл? – нахмурился Парнас Рожденович.

– Хуже.

– Что эщо – хужэ?

– Дурой меня обозвал безмозглой.

– И ты павэрила, голуб мая крылатая?

– О чём ты говоришь, Парнас? – слёзы тут же исчезли на лице Снежной, превратив её в холодную королеву. – При чём тут – поверила? Он меня при всех актёрах оскорбил, весь зал слышал, хохотал, хлопал, «браво» кричал. Выгони его!

– Успокойся, мой лубов, сэйчас выганю.

Разъярённый Парнас Рожденович бросился в суфлёрскую. Виновника скандала на месте не оказалось, и директор накинулся на Подкорытова.

– Гдэ этот свиня?

– Домой убежал, как только закрыли занавес.

– Пяный? Как мог напытса! Ты куда сматрэл? Карманы провэрал? Графын нухал?

– И проверял, и нюхал, не было спиртного.

– В пэрэрыв в буфэт хадыл?

– Никуда не ходил, в будке сидел.

– Тагда как?

– Не знаю, – пожал плечами Подкорытов.

– Завтра всё абыщи, провэр каждый щолка. Глаза с нэго нэ пускай.

Вернувшись в кабинет, Бубашвили нашёл там успокоившуюся Афродиту.

– Выгнал?

– Нэт. Нэ был его, дамой удрал.

– Завтра выгонишь?

– Сразу нэ магу, Арфочка, нада паймат, как на работэ пьёт, – виновато поцеловал ручку своей пассивности Парнас Рожденович. – Эсли бы на рынке работал у мэня, кагда я там дыректор биль, в одын сыкунд уволил би. И штраф эщо дал, и в морду. А тут нэ магу, интэлэгэнсыя, чорт её.

Две недели к ряду Сиропчик являлся в театр трезвым, а покидал его, что называется, на бровях, но обнаружить тару, из которой он пил, так и не удавалось. Его обыскивали, не пускали в буфет, отслеживали каждую его встречу с работниками театра – всё в пустую. Результата по выявлению алкоголя не было, а перегар был.

– Назначаю прэмию, кто Сыропчыка с бутылкай паймаэт. Тры аклада и бонус, – пообещал Бубашвили.

Восьмого марта играли «Чайку». В финальной части Снежная в роли Нины Заречной эмоционально признавалась Константину Треплеву со слов Сиропчика, доносившихся из сукфлёрской:

– Я мелочная, ничтожная актриска, играю совершенно бессмысленно. Я не знаю, что делать с руками, они у меня словно грабли, сами по себе. Так и не научилась стоять на сцене, владеть голосом, память никакая, всё по подсказке. Короче, полная бездарность! И, главное, ведь понимаю, что играю ужасно, а всё равно прусь на сцену. Какая я чайка – я галка залётная. Нет, не то... Голова что-то совсем не варит. Одна пустота. О чём это я? А, о сцене... Я думала, что уже настоящая актриса, что я – чайка, но вы то знаете, что это ложь. Моё истинное предназначение – у прилавка стоять. Это мой путь, это мой крест.

Треплев в изумлении отвечал Афродите, еле сдерживая хохот:

– Да, вы нашли свою дорогу, вы теперь знаете, куда вам идти. Может, и мне с вами?

– Я пойду одна. Я есть хочу. Прощайте.

Занавес дали чуть раньше, не дожидаясь конца пьесы. Зал ревел от восторга и требовал на «бис», Снежная билась в истерике на руках Бубашвили, а Сиропчик, подняв воротник пальто, шёл, пошатываясь, к метро и плотоядно улыбался.

– Я нашёл, я нашёл! – с победным криком ворвался в кабинет к Парнасу Рожденовичу Подкорытов. – Я вычислил и нашёл!

– Что нашоль? – вонзил в «пожарника» суровый взгляд Бубашвили.

– Тайник Сиропчика нашёл!

– Гдэ? Вэди, паказывай, как нашоль!

– Да я тут случайно узнал, что Сиропчик, оказывается, два раза в день наведывается в театр. Вечером, понятное дело, на работу, а ещё и утром является всего на полчаса, вахтёр проболтался. Никуда не заглядывает, а прямоком на сцену. Походит туда-сюда, и назад. Мне подозрительным показалось, чего утром-то шастать по пустому залу, вот и решил проследить.

Сегодня, как только рабочие пришли, спрятался в ложу. Сижу, жду. Появляется через какое-то время Сигизмундыч, ну я в прореху подсматриваю, что делать станет. Он туда-сюда прошёлся, остановился у занавеса, постоял пару минут, поправил там что-то и исчез.. Я ещё подождал для конспирации, ну и туда. И вот! – Подкорытов расправил занавес и гордо указал пальцем вниз.

На уровне колена Бубашвили к занавесу был пришит потайной карман из такого же материала, что делало его совершенно незаметным. Парнас Рожденович наклонился к накладке и засунул внутрь руку.

– Опа! – извлёк он наружу поллитру водки, покрутил её перед собой и непонимающе уставился на Подкорытова. – А как он пьёт, если в буткэ сэдит?

– Занавес прикажите закрыть.

– Закрывай, – скомандовал директор работнику сцены.

Огромное полотно бесшумно заскользило вдоль рампы. Когда занавес остановился, потайной

карман оказался ровно перед окошком суфлёра.

– Вах! – изумлённо выдохнул Парнас Рожденович. – Как в кино! Эщо павтари.

Занавес разъехался.

– Давай назад!

Полотно вернулось к будке.

– Вах! – восторженно хлопнул в ладоши директор. – Как в рэстаранэ, прама к сталу!

– Давай опят.

– Вах!

– Давай сначала.

– Вах!

Бубашвили спустился в будку

и оттуда ещё минут десять раздавалось:

– Закрывай! Вах! Открывай! Вах! Закрывай! Открывай! Вах....

При этом каждый раз звучал счастливый, почти детский, смех.

– Наверное, уволите теперь Сиропчика, – сочувственно шмыгнул носом Подкорытов.

– Нэ в коэм случаэ! – энергично замотал головой Парнас Рожденович. – Нэ в коэм случаэ! Ёсиф – валшэбнык! Он – талант! Он настоящый Энштайн! Сыропчык до самой смэрты в тэатрэ работат будэт, как Пушкин. Он – гэний!

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ

В Минино жизнь текла своим чередом, мирно и медленно. Люди в деревне нарождались, вырастали, женились, работали, а время подходило – и помирали без всяких возражений. Кого-то помнили потом, а кого-то и забывали через месяц, тут уж как повезёт.

Космонавт Толька с детства в этом звании пребывал. Как батя, покойник, ляпнул как-то по пьяни, мол, быть моему сынку космонавтом, так и повелось на деревне Тольку Курятникова «Гагариным» величать. Благо Толька статным мужиком вырос – высоким, плечистым, и улыбка во всё лицо, как у настоящего Гагарина, правда, не от ума, а от глупости, но кто там разберёт с первого раза. К тридцати годам Курятников уже и пузо имел для солидности, не хуже, чем у самого главного генерала российской армии. А и чего не иметь, если без работы всё время – у мамки на шее. Лежи себе на диване да ешь-пей в своё

удовольствие, коль родительница добра.

– Ты, Гагарин, будто в космосе, как сыр в масле катаешься, ничем и не занят в жизни, – подтрунивали при встрече мужики. – Так весь век и пролетаешь без пользы и смысла.

– А хоть и век, – глупо улыбался Толька, не замечая подколов, – мне и без этих ваших смыслов хорошо.

Век не пролетал – помер от гангрены к пятидесяти годам, отморозив ноги по пьяни.

Валерочка Поворотов тоже из знатных – друг и собутыльник «Гагарина». Напьётся и ну песни орать по деревне противным гнусавым голосом.

– Паваротти, ты прям, как Басков, достал совсем. Заткнулся бы уже, сколько можно горло драть! – негодовали встречные односельчане.

– Не нравится – не слушайте, уши ватой позатыкайте и мимо ходите, – огрызнулся Валерочка,

продолжая выплёскивать из себя бездонный репертуар.

А ещё к их компании Юрка Паскудин пристроился – местный блаженный. С самого детства ему не жилось под родительской крышей, всё время в бега подавался. Уж как отец с матерью ни бились – и лупцевали нещадно, и подарками задабривали, ничто не помогало, тянуло Юрку на улицу, на простор. К четырнадцати годам махнули на него в отчаянии рукой – живи, мол, как знаешь. Юрка и рад этому, пастухом заделался. Летом под любимым кустом постель, в зиму по хлевам да сараям. Сам себе вольная птица. Хорошо. Если вдруг тоска набегала, к Гагарину да Паваротти дорогу торил. Когда коров в деревне не стало, Юрка зачудил. Сначала заброшенный птичник сжёг, а потом и старую церковь. После этого стал креститься истово да по вечерам юродствовать у местного сельпо.

Анна Ивановна всех троих совестить пыталась

– Вот что вы за люди такие, что от вас проку-то? Не работаете, пьёте, безобразничаете. Ни семьи у вас, ни детей. Живёте впустую и памяти никакой о себе не оставите. Что были – что не были.

Анне Ивановне ни Толик, ни Валерочка, ни Юрка перечить не смели – уважали шибко. Она одна такая была в Монино с орденом Ленина на груди – знатная доярка и депутат.

Со смертью «Гагарина» дружки тоже надолго не задержались, на погост за ним в течение года отправились. А лет через десять после их ухода у местной молодёжи спрашивали проезжающие:

– Ребята, скажите, известные люди в вашей деревне проживали когда?

– А как же! – с гордостью отвечала молодёжь. – Космонавт вот из нашего Монино вышел, героем стал, четыре раза в космос летал. Там и погиб, не вернулся. А ещё певец известный, оперу пел, как Басков, не хуже Шаляпина, говорят. В Америку уехал.

– А фамилия его какая?

– Не помним уже, похоронили б на нашем кладбище, мы б знали. Цветы, поклонники. А так... В Америке же.

– И всё?

– Нет. Ещё святой свой был, как Василий Блаженный. За церковь стоял, рушить никому не давал, молился за всех с утра до ночи. А ещё предсказывал будущее да заговаривать мог, лечил всех бесплатно. Святой, одним словом.

– Может, ещё кто?

– Не, никого больше. Остальные – простые колхозники, доярки да трактористы, какая о них память? Что были, что не были. Пахали с утра до вечера, ничем не прославились. Пустая жизнь.

– Ну что ж, и трое – не мало. Богата Русь на великих людей, что ни деревня – свои герои.

СЧАСТЬЕ

Лето. Пора сенокоса, ягод, первых грибов, тёплых проливных дождей, трясогузок и жаворонков.

Я валяюсь на лежанке с закрытыми глазами и слушаю мелодию раннего утра. Мне уютно и легко. На лице ощущаю какую-то глупую

мечтательную полуулыбку – наверное, счастья.

Со двора доносится петушина побудка Петра Петровича. Бабушка Маня гремит внизу посудой и ухватом, то закроет заслонкой печное устье, то откроет, выпуская оттуда поток духмяного воздуха. Завтрак готовит для большой семьи. Ходит туда-сюда по кухне, что-то нашептывая себе под нос, – то ли ругает кого, то ли приговаривает. А то вдруг тихонечко запоёт, слов не уловить. Куплет пропоёт – и опять бормочет, мои уши щекочет. Скрипят время от времени сенные двери, выпуская бабушку в кладовку по муку да по яички. Недовольно взвизгивает люк подпола, и охают ступеньки, когда бабушка Маня грузно спускается за маслом и сметаной, а заодно и квашеной капусткой деду на завтрак, любит он её больно.

Где-то за печкой шебуршится мышка, но кот Матвей и глазом не ведёт. Вернулся с ночной охоты, залез на лежанку, вытянулся рядом со мной и мурчит чего-то там себе сквозь сон.

Бабушка Маня в очередной раз отодвигает заслонку, стучит ухватом, и кухня наполняется запахом свежевыпеченного хлеба.

Меня не надо будить. Я сам спускаюсь с печи и жду свою порцию счастья. Ждёт её и кот Матвей, ласкаясь о бабушкины ноги.

– Доброе утро, ба.

– Доброе, доброе, внучок, – бабушка наливает мне большую кружку парного молока. – С полчаса всего как от коровы.

Потом отрезает здоровый ломоть горячего хлеба, и я, всё с той же блаженной полуулыбкой, выхожу во двор и жмурюсь на утреннее солнышко.

Пётр Петрович важно проходит возле меня, чуть кося взглядом на хлебную краюху. Кусочек мякиша летит ему вслед.

Со стороны баньки доносятся лязгающие звуки. Это дед набивает косы, скоро на делянку. Я иду к нему босой по огородной тропке, жую тёплый хлеб и запиваю его таким же тёплым молоком.

– Доброе утро, дед, – сажусь на завалинку у слегка покосившейся старенькой баньки.

– Здоров, внук, – откликается дед Петя, продолжая своё важное дело.

Я сижу, ем, смотрю на ладную работу деда и втягиваю в себя крапивно-малиновый воздух, замешанный на лыковом запахе, струящемся из предбанника. Мне ужасно хорошо.

Скоро баба Маня позовёт завтракать.

И вот уже на столе пышут блины и оладушки, шкварчит яичница, в котелке разваливается на кусочки варёная картошка, обильно сыпанная укропом и сдобренная сливочным маслом, разложены пучки зелёного лука, редис и свеженькие огурчики. Перед дедом глубокая тарелка квашеной капусты, на середине стола пыхтит самовар, а по краям стоят крынки с Зорькиным молоком.

Потом сенокос. Отец в потной рубахе, сноровисто машущий литовкой вслед деду Пете, мама в сбившейся косынке с граблями в руках, смеющаяся тётя Галя, раскидывающая траву для просушки, и озорник Пашка, подбрасывающий ужонка к ногам трусихи Ольги.

В обед пьянящий дух собранной на опушке земляники и хлебный вкус домашнего кваса, а

поздним вечером игра в лото всей семьёй по копейке, печальный звук соседской гармонии деда Игната, задорный смех парней за воротами и звонкие девчачьи голоса, складно перепевающие какую-то эстрадную певичку. Перед сном кружка свежего молока и кусок

тёплого бабушкиного хлеба – не простыл и за день, а может, мне это просто кажется. И звёзды, звёзды, звёзды...

Сон наступает мгновенно, лишь только голова тонет в пуховой подушке. Глупая полуулыбка счастья и ночью не сходит с лица.

МУЖИК

Обстоятельства забросили Виталия Андреевича Плотникова в дальнюю карельскую деревушку, спрятанную в глухих лесах от всевидящего ока цивилизации. Виталий Андреевич собрался писать новый роман и выбрал это место в силу его оторванности от всяческой мирской суеты. Но и оказавшись среди тишины и покоя, Плотников никак не мог сложить сюжет. Прошло три дня, была исчеркана не одна страница, а роман не трогался с места.

Написав за весь день несколько предложений, Виталий Андреевич матерно выругался и вышел на крыльцо. Вечерело. На деревню опускались осенние сумерки, укрывая её предзимней прохладой. Выкурив сигарету, Плотников медленно побрёл в сторону единственного магазина. Следовало прикупить кофе, который в какой-то мере теребил мысли писателя и не давал окончательно погрузиться в апатию.

Дорога была безлюдна и спокойна. Виталий Андреевич в глубокой задумчивости пинал перед собой маленький камешек, не обращая внимания на то, что его окружало.

Метров через триста навстречу прозаику из проулка неожиданно

вывернул местный житель в рыбацких сапогах и камуфляже. Мужика шатало так, что порой ему едва хватало всей ширины улицы. Столкновение казалось неизбежным, но в последний момент рыбачок смог притормозить и на секунду остановился рядом с Виталием Андреевичем, сфокусировав на нём свой тяжёлый взгляд. Плотников тоже исподлобья посмотрел на пьяного. Через мгновение они разошлись в разные стороны.

– Мужик? – вдруг донесся до писателя осиплый голос рыбачка.

Виталий Андреевич никак не отреагировал на этот возглас, мало ли кого ещё мог встретить податый селянин, продолжая свой замысловатый путь.

– Точно, мужик, – на сей раз утвердительно прозвучало в некотором отдалении.

Плотников вжал голову в плечи.

– Эй, мужик, я к тебе обращаюсь, – требовательно долетело до писателя.

– Чего тебе? – с опаской остановился Виталий Андреевич, выглядывая у дороги подходящий дрын. Дрына не было.

– Ты чей, мужик? – стоял метрах в двадцати рыбачок, обхватив электрический столб.

– В смысле?

– Ты не наш мужик, – набычился мужик.

– Не, не ваш, – попятился Плотников.

– Стой, мужик! – грозно воскликнул рыбачок.

– Чего тебе? – Плотников попятился снова.

– Тебе плохо, мужик? – неожиданно донеслось от столба.

– С чего ты взял? – растерялся писатель.

– Да идёшь ты как-то скучно, невразумительно идёшь, будто ноги не твои. Еле плавниками шевелишь. И взгляд в землю. Нехорошо.

– Да нет, всё нормально, задумался просто, вот и медленно.

– Задумался? – прищурился рыбачок. – Это плохо, мужик.

– Почему плохо-то? – удивился Виталий Андреевич.

– Вредно потому что. Думать вообще вредно. Будешь много думать, ничего в жизни сделать не успеешь. Ты не думай, мужик, ты просто живи. Вон красота-то кругом какая, глянь-ка. А ты идёшь, мужик, еле-еле, глаза в землю упёр и ничего не видишь. А всё почему, мужик? Потому что думаешь. И,

наверное, много. Перестань думать, голову подними, и красота сама к тебе придёт. И жить захочешь. Так-то вот.

Рыбачок встряхнул плечами, сосредоточился и, оторвавшись от столба, продолжил свой путь, мотыляясь по всей ширине дороги.

Виталий Андреевич, открыв от изумления рот, смотрел ему вслед пару минут и вдруг расхохотался.

– Вот это да! Вот это философия! – восторженно ударил он себя по бедру. – И каков философ! Куда там Канту!

«А может, и правда – хватит думать?» – Плотников огляделся по сторонам. Красота, возникшая перед ним, ошеломила. Закатная красная полоса в небе, волшебные силуэты вековых елей у околицы, белёсые дымки печных труб, покосившийся штaketник – всё это сразу наполнило радостью стеснённую грудь и заставило писательское сердце вернуться к здоровому ритму.

Виталий Андреевич поднял голову вверх и увидел первые звёзды....

Будущий роман полностью сложился в цельную картину.

